



мария герасимова

первое
отражение

повесть рассказы киноновелла

победитель
конкурса
"Словарный
запас"

Мария Герасимова

**Первое отражение. Повесть,
рассказы, киноновелла**

«Издательские решения»

Герасимова М.

Первое отражение. Повесть, рассказы, киноновелла /
М. Герасимова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-932166-4

Кино, написанное прозой? А, может, проза, смонтированная как хорошее кино? Что здесь сильнее и прекрасней? Непросто разобраться, как и в отношениях двух девушек из повести Марии Герасимовой «Сестры». Автор юн, и его новую реальность воспринимаешь особенно остро, потому что пишет Герасимова болью и сердцем, впервые, как если бы ничего не было раньше. Книга — победитель конкурса «Словарный запас» проекта «Том писателей: антология новейшей вологодской литературы».

ISBN 978-5-44-932166-4

© Герасимова М.
© Издательские решения

Содержание

Сестры	6
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Первое отражение

Повесть, рассказы, киноновелла

Мария Герасимова

Редактор Наталья Александровна Сучкова

Корректор Любовь Аверкиевна Молчанова

Дизайнер обложки творческая группа FUNdbÜRO

© Мария Герасимова, 2018

© творческая группа FUNdbÜRO, дизайн обложки, 2018

ISBN 978-5-4493-2166-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Сестры

Одна девочка смотрела на другую. Одна стояла в сторонке, держалась за подоконник, чтобы догорающее солнце окончательно не вызолотило ее черты. Она смотрела чуть отрешенно, чуть в себя, по-стариковски остывшими глазами, но не отводила взгляда, и под его силой другая девочка продолжала действовать.

Она активно работала локтями, она казалась себе большим насекомым, чем-то вроде паука, только с невидимым брюшком, с ворсинками по всему телу, с хищной решительностью. Она знала, что нужно делать, как будто делала это уже не раз, она копалась, но в копошении была система.

Кровь была еще горячей, острый запах перемешивался во рту со слюной. Девочка скрипела зубами, и этот звук причинял боль той, другой, что качалась вместе с пыльными занавесками.

– Гляди, – приговаривала паучок. – Гляди, моя милая.

Нож друг вытал из рук, и ее мучительно вырвало.

Иногда думаю, почему все детские воспоминания связаны с ней? Все самые ранние, самые яркие из какого-то дремучего зарубежья, из страны, которая перестала быть родной, куда нет пути, нет возвращения... Не о матери и не об отце, даже бабушку оттуда не помню. Моя сестричка заполнила собой мое существование!.. Ненавижу ее за это, она виновата передо мной по крови, но что сделаешь с данностью, как изменишь неизменное?

Помню темное зимнее утро. Я кушаю что-то, пяточками касаясь холодного пола. Она повернулась к окну, сидит неподвижно. На столе стынет чай, у нее уже заплетена длинная аккуратная коса. А я, маленькая растрепанная, ковыряюсь в еде и наблюдаю за ней. В открытую смотреть нельзя – тогда то высокое, взрослое, что по кухне мечется, погруженное в отсутствие времени, разъяренно зашипит: «Ты хоть ешь!» И я искоса поглядываю, пережевывая и глотая, на ее мирно сложенные на коленках ручки, на сведенные вместе худые ножки.

Я и сама была тогда такой – эфемерной и беззащитной, но у сестры было что-то еще, что-то особенное, какая-то внутренняя оголенность. Это я понимала, чувствовала. Но почему она не могла прекратить? Почему провоцировала постоянные склоки? Неужели так трудно было перестать? Мне тоже не хотелось есть, но я же ела! Я злилась и ревновала – даже к грубости! – сначала, конечно, радовалась про себя (не меня же ругали), а потом вся сжималась от негодования. Опять она!..

Ее трясли за плечи. Поворачивалась, не узнавая, удивленная.

– Мапочка, лесок! – проговаривала она, указывая на узорчатое от инея стекло и будто что-то припоминая. – Откуда там – лесок?

– Собирайся! Ну же! Сколько можно, мы опять опоздаем! – это «собирайся» звучало как набат, как мольба, – вернись, дитя, вернись.

– Мапочка, мы пойдем туда? – тогда она еще называла мать «мапочкой». Потом была только «мама», потому что за «мапочку» били сильнее.

– Пойдем, пойдем, – тогда с ней еще соглашались, еще питали надежды. – Покушай и пойдем.

Сестра скашивала на меня две щелочки – дурацкая привычка шуриться в предвкушении, – улыбалась краешками губ. Тянулась к чайнику с заваркой, я хорошо помню, делала несколько глотков из носика, еле справляясь с его тяжестью, протыкала мизинцем кусок белого хлеба – играла, играла, всегда играла!

– Что за дети, – смеялся отец. Но смех его, глухо не поддержанный матерью, затухал, не раскрывшись. Отец нес вину – его прабабка, говорили, была полоумная. Это я потом узнала, всё потом. Но не верила никогда, что папка был причиной...

Одевали ее. Мать доходила до белого каления... Я, младшая, быстро научилась, справлялась сама. Сестра одеваться никак не хотела. Безвольно и грустно опустив голову, она только препятствовала всем попыткам справиться со своими неповоротливыми конечностями.

Она любила оставаться дома, в уголке, где разговаривала с собой, со мной и еще с кем-то. У нее особо не было игрушек – подарки плавно перетекали в мои руки. Ей нравился только пластмассовый старый конструктор. Расставляя кубики, пирамидки то так, то сяк, она обращалась к каждой новой последовательности предметов, как к невиданному существу. Таких существ было много вокруг нее. Но она была нормальной, я сейчас всем заявляю – нормальной!..

– В леске волшебник живет, серебрится, серебрится. На леске он танцует, танцует и поет. Торопливо застегивались пуговицы на искусственной шубке, оправлялся шарф:

– Уволят меня к чертовой матери, кто кормить будет, этот ничего не зарабатывает, одни копейки, крупы подорожали, молоко...

– Мы вместе пойдем? Вместе? – и так вдруг заглядывала ей в глаза, что та вздрагивала. – Туда?

– Мам, я готова, – влезала я.

– Выходим, – а лицо спрятала! Что-то она в те годы понимала, что потом заставила себя забыть, что переключила, подшила под принятые размеры.

На улице всегда начиналась жуткая истерика. Сестра словно терялась, всё спрашивала про свой «лесок», ее тревога росла, и она начинала орать низко, как загнанный зверь: «Обманщица! Сука!» Откуда она, будучи дошкольницей, начерпала таких слов? Как нашлась их употребить?

Успокаивались только в автобусе. Там обязательно – окно (иногда приходилось умолять, чтобы уступили место, иначе ор начинался опять). Мне было жутко обидно!..

Носом прижималась к стеклу, когда ехали мимо храма, пыталась облизать купол. Мы обе были некрещеные в детстве. Меня потом привели в церковь, а ее и затащить не смогли. Стояла, потерянная, шептала: «Нет, нет, нет».

Занавески вторили этому звуку, мешая складки, поднимая подолы, в светлом, пылающем полете.

Праздники всегда были чем-то омрачены. Почему же вспоминаю о них теплее, чем о проведенных вне семейного круга? Почему не хватает теперь полноты ощущений?

Страдали мы все, но страдание в детском сердце смешивалось с ожиданием волшебства – появлением новых вещей, людей, которых редко увидишь в обычные дни, да еще и нарядных, раскрашенных, торжественных; общим волнением, вкусной пищей, предчувствием забытья взрослых, их особым расположением... Свобода была в праздники, отрыв от обыденности, пустые мутные взгляды и песни.

Я ждала заветных дней со щемящим, крадущим дыханием чувством; ожидание было чуть ли не важнее самого праздника, оно выматывало жутко, но сколько искр, печалей, перебранок и скрытых, предвкушающих улыбок в нем было! Жгучая, но знакомая, родная смесь.

Сестра за неделю *до* впадала в еще большую отрешенность. Она отрицала то, что должно было произойти. Время для нее не существовало, любая определенность загоняла на край обрыва. Она смотрела вниз, закрывала лицо руками.

За день-два она от отчаяния решалась прыгнуть вниз и превращалась в кошку. Ее бесшумнейшие шаги пугали даже меня, не говоря о матери, которая ненавидела эту ее манеру, ругалась последними словами, еле сдерживаясь от рукоприкладства. А сестричка, коротко хихикнув, с потаенной, внеземной улыбкой убегала и пряталась на целый день, пропуская обед, ужин и затем, ближе к ночи, удивительным образом оказываясь в постели.

Накануне она начинала метаться по квартире, пыталась запирать двери, кричала, если кто-то заходил или выходил из комнаты. Ее лицо запечатывал неподдельный ужас. Потом – расслаблялась, холодела, как утопленница, забиралась под письменный стол и оттуда, повизгивая от особенно непривычных и громких звуков, встречала гостей.

Когда все, кто должен был прийти, рассаживались, она появлялась, умещалась спокойно рядом. Всех поражала ее «как бы красота». Что было в ней красивого? Ничего, конечно. Растрепанная (матери не удавалось ее поймать и привести в порядок), измятая, выглядывающая из-под лба странно и пристально, она вызывала недоумение, неловкость, к которым примешивалось короткое и неосознанное восхищение. Оно не успевало перерасти в характерное неприятие (под действием притупляющего инстинкт самосохранения алкоголя) и преобразовывалось в снисходительную доброжелательность. Гости, ритуально нарадовавшись на меня, переключались на сестричку, как дети, увлеченно тыкающие палочкой невиданное прежде насекомое. А насекомое так легко раздавить неловким прикосновением!.. И тут проступала тягучая, сыто-прозрачная лимфа, ножки дергались неестественно и ломко; глаза ее расширялись.

Она смотрела, не веря, что такое может быть. Могла плюнуть в лицо (так было с теткой Машей, которая тут же вскочила, задев животом стол, – рюмочки взволнованно зазвенели – и ринулась из квартиры вон), но чаще ее тошнило прямо на чьи-нибудь благородные коленки, отутюженные заботливой рукой, или бархатные широкие юбки.

Мать терпела долго, Машу даже, шербата ухмыльнувшись, одобрила, но с очередного Нового года стала запирать в детской. Сестричка вела себя тихо, однажды, правда, попыталась вылезти в форточку (окно полностью открыть для нее было невозможно – запретное что-то). Провисела так, застряв, наверно, несколько часов, папа вытащил ее без сознания.

Эти праздники для меня приобретали особый лоск. Не покидала постоянно мысль: она в темной комнате, одна, всё слышит, все запахи, все разговоры и не может выйти, ничего не может! Она была совсем не в себе после таких заточений, не отзывалась на имя, ползала по ковру, как щенок слепой. Сначала очень пугались ее настроением, а потом бросили, забывали быстро.

Мы научились забывать; еще раньше – показывать, что забыли.

Мы росли, родители старели, и двигалась жизнь незаметно, по кромкам восприятия.

Мать ругала бабуку, что нельзя с ней ни на минуту оставить сестренку, бабука ругала мать за выбор «дурного мужика», который и не зарабатывает и к их роду «примешал заразу».

«Нарожала от него, а я тебе говорила, вот сама и справляйся, – выбуркивала бабука в запале. – Я тебя человеком вырастила, должна быть мне благодарна!»

Но в целом заодно они были, одна копия другой, выдернутая из отдаленных друг от друга отрезков жизни. Будто разные лица одного существа – щелкал механизм, что-то схлопывалось, и морщилось или расправлялось лицо – а взгляд всё тот же, голос, интонации.

Да! Бабука и выгнала сестру, когда та к ней пришла, убитая папиным «прочь отсюда». Да. Не приняла. Легко мне представить: сестренка стоит на пороге, выламывает руки, с опущен-

ными, слипшимися ресницами, с ошалелым от пощечин румянцем, а бабка без тени сомнения: «Бесовка! Шлюха! Ноги твоей!..» – и так далее.

В школе ее удивительно легко приняли. Мальчишки дразнились, конечно, но им быстро надоело. Они как-то потеряли к ней интерес, что ли. Донимали таких, как я, подружек моих. Дергали за косички, бегали, подставляли подножки.

Ее же спокойно обходили стороной. К ней не приклеивались ни клички, ни прозвища – она как рыбка выскальзывала из любых словесных объятий.

У доски отвечать не умела (не хотела?), осторожно брала двумя пальчиками мел, смотрела на пример или просто на еще не тронутую ничьей рукой доску. Тут начинался внутренний диалог (это я могла распознать) с этим мелом, с темно-зеленой поверхностью доски, с оконной рамой, с чем угодно. Она заражалась предметами или тем, что видела в них, не знаю.

Простота, непринужденность позы выдавали ее полную отрешенность от класса, требований учителя, от всего происходящего. Она будто была выключена из окружающего пространства, как пазл из невидимой и неведомой мозаики, ее голова, несмотря на попытки взрослых, не подходила в ту с определенными очертаниями пустоту, что они для нее выбрали.

Она была в другой пустоте, вставляла себя в другие картинки или вовсе не...

Девочки, к стыду моему, унижая меня, постоянно делали мне знаки глазами, скоро поняли, что так, кроме того, можно уколоть, спрашивали: «Чего она? Что такое?» Ждали, наверно, и от меня чего-то подобного.

Я мечтала, чтобы у меня была такая же классная старшая сестра, как у Катьки, а лучше – старший брат. В первом классе я спросила родителей, нельзя ли поменяться. Мать как-то окаменела и выбежала из комнаты. Отец сначала молча пошуршал газетой, потом стал прислушиваться к звукам, издаваемым матерью на кухне. Вздохнул коротко, сложил разноцветные листы в трубочку и тихонько повел меня на каток.

Отношение родителей к нам менялось. Ко мне стали тянуться, спасаясь. Устали. Ходили ведь к доктору, но это потом, потом... А хотели ли перемен, верили ли в возможность? Сейчас трудно ответить, не знаю.

Прочитав всё, до конца, вы будете думать, что она была чиста, невинна, а мы, самые близкие, – чудовища.

Но это не так, не так! Она была дрянью, она была распутной. Родители пришли, наконец, ко мне, потому что с ней жизни не было, а я еще могла дать им детство. Я могла, но была уже слишком взрослой, наблюдательной, жесткой, я притворялась плохо, потому что не в состоянии была простить холодного пола и голых пяточек. У нее были шерстяные носки, а меня забывали, потому что я не была больна!.. Ну и что, что потом ее... Ну и что...

Она была распутна. Она соблазнила мальчика в восьмом классе!

– Взяла его за руку и повела куда-то, – говорили мне прозорливые одноклассницы. – Он ей складывает из бумаги журавликов и цветы.

К нам приходили его родители. Скорбного вида мужчина и маленькая женщина. Заперлись на кухне, о чем-то долго говорили. Натягивая ботинки (одинаковые практически, только размер разный) в коридоре, слабым голосом:

– Он бредит, пожалуйста, вся комната в обрезках. Ломает ножницы, если не получается, невообразимо как...

– Но мирный, мирный, – как бы сдаваясь.

А у сестрички и у их сына действительно было взаимопонимание. Наверно, никто больше так не смог проникнуться ею, как он. Он был единственным. Он бродил за нею, привязанный. Она что-то говорила ему, передавала речь своих «друзей». Он как-то мучительно улыбался, смотрел в глаза.

Один раз поздоровался со мной. Я позвала в гости.

– Приходи, никого не будет!

Они сидели рядышком, почти не двигаясь, всё отведенное им мною время. Я тряслась от злости и возбуждения, но ничего не произошло. Чувствовалась между ними эта близость страшнейшая, губительная, подкожная. Они касались друг друга коленями, оба тонкие, с неприбранными волосами (он вовсе перестал расчесываться после знакомства с ней). Я ничего не понимала! Я думала, что они меня стесняются, и приговаривала, проходя мимо то в туалет, то в ванну и обратно к себе:

– Родителей долго еще не будет, долго!.. – и ничего. А она всё знала, но молчала почему-то.

Мать пришла через сорок минут вместе с бабушкой. Увидав гостя, покрылась пятнами, схватила сестру за руку и выскочила с ней на балкон. Был декабрь, но она оставила ее там, заперев за собой дверь.

Мальчик рванул было помочь, но бабушка, сильная и прыткая тогда женщина, перехватила его и настойчиво поволокла из квартиры: «Кто тебе разрешил, кто?» Она была во все посвящена и называла сложившееся положение «дурью».

Сестричка приложила ладони к стеклу и улыбалась, шевелила синюшными губами, будто бы целовала нас. Тех, что остались в теплой комнате.

Я с замиранием сердца не признавалась ни в чем и не могла отвести от нее глаз. А в чем я была виновата, по сути? Я ничего, ничего не сделала!

Мать демонстрировала полное равнодушие. Бабка причитала что-то о лекарствах.

Она уроки делала всегда верно, только часто бросала задачки и тексты недоделанными, недописанными... Она боялась ставить точки. Она терялась от необходимости завершить строку. Я допишу за нее, как сумею, этот маленький рассказик. Рассказик, в котором будет вся ее жизнь!

Не закончила я о развратности. Опять она выходит у меня несчастной. На самом же деле несчастными были мы, мы! Те, кому пришлось жить рядом, кого приковали к зрительским креслам тяжелыми цепями. Мы могли только посылать миропорядок к черту и ее – к черту.

Она же делала всё, что хотела. Мысль, а что дальше, что будет после того-то и того-то, не посещала ее голову. Я вообще не уверена, что она именно *думала*, то есть отдавала себе отчет. Нет!.. Она обитала в одном импульсе, в химической реакции, в одном вздохе.

И что нам было делать? Как с этим поступать? И, в конце концов, почему мы?

Обращение к доктору совпало с подтверждением ее бесконтрольной похоти. Как-то случилось в один миг, даже не понимаю, как.

Отец и раньше настаивал – давай покажем ее, давай попробуем. Мать бесилась из-за денег. Но тут сдалась, период был такой, она не хотела ничего решать.

Я не знаю, как там все было. Но появились в доме таблетки. Много и разные. Пить их надо было по особому расписанию. Новый повод для скандалов с удобством разместился в качестве еще одного жильца. Он курил трубку, снимал шляпу, поправлял очки, читал газеты отца, которые он бросал в нетерпении, устав слушать мычание и материны понукания.

Я следила за этим с превеликим любопытством. Сестренка здорово менялась, если удавалось втолкнуть ей в глотку парочку «беленьких». Она необычно склоняла голову, будто ей в уши воды налили. Тряслась так, словно не могла их прочистить. Я смеялась над ней, и никто мне не мешал. Никто не замечал моего смеха.

И вот буквально с первых же дней приема она стала пропадать. И раньше такое случалось, но редко: засмотрится на что-нибудь и стоит, привлекает внимание. Прохожий-добряк

приведет в участок, потому что сказать ему ничего не может, идет следом, как ягненок на убой: в приятном неведении, только бы идти. А из участка уже звонят домой – забирайте.

А теперь пять дней в неделю: уходила в школу, а возвращалась ночью. Всех будила, не попадая в замочную скважину, – тогда у нее еще ключи не отобрали. А на выходных ее совсем не было. Не знали, где она и чем питается. Родители выдирали провод из телефона, чтобы никто позвонить не мог. Стали отрицать – как и она ведь, она нас научила! – ее существование. Надоело верить, что что-то может измениться.

Так вот, я потом открыла для себя, а мать с отцом, видимо, раньше от кого-то узнали, что ходит она в квартиру неподалеку, к наркоману вроде бы. И спит с ним, но не колется. А для нас она, конечно, кололась, в этом был весь смысл.

Меня стали ласкать, глядели с любовью. Появился новый оттенок – «мы тебя защитим» называется. «Мы дадим тебе образование (какое посчитаем нужным, в скобках), счастье, нормальную жизнь». «Мы – тебе».

Я зверела от этих взглядов. Я была счастливо убита, потому что всюду была она. И в этой любви и в этих обещаниях сквозил ее образ, как призрак.

Стали говорить, что *там ее бьют*. А я думаю, она и радовалась, и просила наверняка. Она, когда избита была, когда чувала гнев, вся прямо оживала и принимала в себя. И человек закономерно увлекался! Энергия рук, ног, разворот корпуса. Власть над пространством. Над *ее* пространством.

Вскоре к нам наведалься соцработник. Так и так, в школе появляется редко, вся в синяках, что делать будете? И тут началась борьба за ее сдачу. Борьба за выгодное поражение. Мы решили отпустить ее, а ее никто не хотел, никто не мог ее поймать, прежде всего. Она была к нам привязана обществом, то есть сетью условностей, но, если разобраться: кто она нам? Зачем она нам?..

Несколько дней, случившихся в полной глухоте, мы провели на даче. Как в колыбели. Когда вернулись, на пороге обнаружили *его*. Родители узнали, а я впервые столкнулась.

Это был парень из *той* квартиры. Наркоман, как нарекали «все знающие», с именем звучным – Роман. Как поэтична ирония жизни, смерти!..

Грустный, с неровной улыбкой, темными впадинами глаз, из которых шел, как из весеннего окна... свет?! Я пошатнулась, мне было дурно. Окна-окна-окна!

Он был бесстрашный и робкий. И он спросил:

– Где ваша дочь?

– У нас нет дочери, – ответили заученно. Но Я, Я была там!

– Идем, – сказала мать, и его пустили в НАШ дом.

А я не хотела его знать, не хотела, чтобы он ступал по моему полу. Почему так? Почему всё так?!.. Как мне было тогда больно, я была предана, я была больнее всех больных. Мне стало плохо, никто не заметил. Я прошла за всеми на кухню.

– Я заберу ее, – сказал он. – Я смогу. Я зарабатываю немного и...

– Ей нужно лекарства принимать, – бесцветно – отец. – Это нельзя.

– Ничего такого! – воскликнул он, но сложил руки, замкнул плечи. Смирился? Такой большой на нашей табуретке.

Они думали о себе? Конечно! Не могло быть и речи! Как бы посмотрели на них на работе? Что подумали бы соседи? «Сдали дочь наркоману». Нет, что-то здесь было еще. Деталь.

– Ей будет лучше у меня. Ей – спокойно, будто бы встретила старого знакомого.

Да! Так говорили родители мальчика. И *этот* говорил на языке любви.

– Невозможно, – качала головой мать.

Пересиливая желания, выворачивая себя наизнанку, – представляла я. Она бы, может, и дала согласие, но не могла. «Так не принято» – социальная псевдомораль, вбитая в голову. Роль матери не позволяла ей нарушить установленные правила. Она хотела быть матерью,

как миллионы матерей. Но больше всего она хотела быть как все, не выбиваться из потока. Остаться в безопасности.

Опять звучит мотив виновности. Я, в бешенстве, тогда разложила себе это так. Сотворила полочки и поместила в них людей, как в гробики. Мне необходимо было почувствовать себя другой. Понимать, что не понимают другие. Вывести себя из их треугольника с черной дырой внутри. Но сейчас, здесь, перебрасывая себя в прошлое, я признаюсь: было что-то еще. Что я не сумела уловить, чему не научили.

А он понимал, он воспринял этот тон, он вслушался.

– Окончательно, – подтвердил отец. – Выросла бы, – добавил он вдруг. – Но она не вырастет.

Я чуть не задохнулась тогда, помню. Что за путь ей готовят? Что за судьбу за ней признают? Клянусь, я почти увидела, как ангел садится на ее плечо. Там, где она сейчас, с легким шорохом крыльев. Я была на грани истерики.

Он не смотрел на меня, никто не смотрел. Я злобно процедила:

– Да пусть она сдохнет!

Он вздрогнул, мать пересекла кухню в один миг, обняла, увела в гостиную. Я провалилась с температурой три дня. Жар прокалил меня насквозь, я вышла из огня нестигаемой, чистой и злой. Мой гнев переродился во мне. Воспрял из самых глубин, поднялся из вороха переживай, мозаик недомолвок. Он собрался воедино, и именно тогда я осознала, что сделаю.

Не путаю же я его ни с чем?.. Не путаю?...

Она пришла совсем скоро. Был страшный скандал. Отец мой с матерью все-таки есть друг у друга, нашли же друг друга: они орали оба, по очереди, слаженно, маятник жалил то его, то ее. Я была в детской. Сестричка, наверно, пряталась на диване, пока ее тащили на крест.

– Ты спала с ним, отвечай сейчас же! Спала! – и не было в этом вопроса. Но девочка отвечала, и я не в состоянии разобраться – зачем.

– Да.

Сыпались ругательства, сравнения с другими детьми (а она была ребенок, ее и подростком трудно было назвать), проклятия богу (как будто он тут был). Вступал отец:

– Как ты смеешь! Что ты сделала с матерью! Что сделала с сестрой!

«Он бил тебя?» – подсказывала я (мне так хотелось в это верить!), но они были настроены только утверждать, чтобы не было путей отхода.

– Да. И пусть, – отвечала она мне. Им ее слова вручали оружие.

– Дрянь! – вспыхивал с готовностью отец. Он пересказывал все претензии, все неприятности, адресованные им из-за нее и о ней. Он выстраивал линию «прочь отсюда», возможно, и не желая этого в полной мере. Но она сама спровоцировала его на последнее слово. Она и мать.

– Мне не нужно, – сказала сестра и (точно-точно!) побелела. – Я уйду.

– Нет, она снова за свое! – завывала мать, кидаясь к дверям, будто собираясь уйти вместо сестры. – Так больше не может продолжаться.

Поезд протрубил прощание. «Или я, или ты».

– Гляди! – воззвал отец, плача, и я сложила это слово в собственный карман. – Гляди!

Зазвенели удары тяжелых рук о нежные, прозрачные щеки.

– Кто-нибудь! – взвизгнула она. – В целом мире!.. Кто-нибудь!

Я вдруг догадалась, что она не хочет идти к *нему*. Чувствовала, что его погубит? Или ангел мешал?.. Сейчас я думаю, что будущее, которое она скрывала от себя ладонями, постоянно шептало ей на ухо все свои секреты, предчувствия мучили ее, она мучила нас, а мы лишь желали покоя. Но для меня его уже не могло быть, гнев уничтожал всё вокруг.

Не знаю, почему он почудился мне таким огромным, мощным тогда, у нашей двери. Возможно, глаза девочки оказались во власти поражения ее чувств: я ведь сразу догадалась, кто это. Я представляла себе его по ночам, я думала до бесконечности о том, как он прикасается к ней... Тот разговор, что произошел между ним и родителями, был ли реален? Или мой кошмар вошел в действительность, сумел воплотиться, заместив собой настоящее?..

Возможно, будучи подростком, он и баловался «расширением сознания». Но не больше.

В любом случае через неделю я столкнулась с ним в продуктовом, он почти не узнал меня. Взгляд – сверхъясный, под черными густыми бровями. Высокий, с бесконечным разворотом плеч, он будто пытался занять собой как можно меньше пространства, поэтому сворачивался в какую-то изогнутую фигуру.

Во мне настойчиво забила глухая разуму решительность, я взяла его за руку – ладонь влажная и ледяная. Он медленно обернулся, посмотрел на меня внимательно и долго, будто что-то припоминая. Суженые зрачки круглились крохотными пятнышками в голубом.

– Пойдем, – попросила я не своим голосом, все внутри пульсировало от страха.

Он купил хлеб, леденцы (сестра такие любила – возилась с оберткой, катала на языке целый день, жмурясь от удовольствия) и сигареты.

Рисуя себе и сейчас: он с трепетом и остротой следит, как она перебирает его вещи; и каждая из них под ее пальцами отзывается в нем самом, будто она притрагивается не к обычным предметам, а к его внутренним органам; следит, как она разговаривает с ними, не размыкая губ, но кивая, меняя выражение лица.

Она ничего не просит, ничего от него не требует, она всем и всегда словно бы довольна.

Он рассказывает ей о своей жизни в детдоме, об училище, работе.

Он не несчастлив, он понимает просто и спокойно ту ситуацию, в которую его поместила жизнь. А она кивает – кивает сквозь бесконечное сияние. Благополучие его не интересует, он даже в этом смысле беспомощен – в детдоме все появлялось само собой, квартиру на совершеннолетие дали так же, из ничего.

И тут в непробужденную, неподвижную духовную жизнь, раздвигая ставни, через оконный проем со стороны улицы вошла она.

Я сидела в *той самой* квартире, побежденная ее невидимым присутствием. Только она могла так расставить чашки, убрать особыми складками душные занавески, развернуть кресло левым подлокотником к окну, правым – в сторону двери «для паренья». Он ничего не менял, ничего не трогал... Зачем я пришла?

Наверно, он ожидал и меня включить в этот мирок, отыскать во мне фамильное сходство... Проблема в том, что она была единственной, из ниоткуда в никуда, без древа, без плоти. Только кровь нас роднила, русло реки, ее далекий, горный исток... Как люблю я сейчас эти строки, как плыву по ним, как купаюсь в волнах, а вокруг – бездна сквозь единообразие решеток, пересуды, хваткое на все любопытство – глупые чувства. Я сейчас понимаю, что только тогда дышала полной грудью, истинно ступала по земле, видела небо.

Я проклиная и благословляю (неизвестное, но почему-то уместное теперь слово) то время (наверно, потому что в решетках всегда – кресты). Переживания юности, за которыми – нечто огромное, что придется разгадывать все оставшиеся десятки лет. Я уверена, что проживу долгие годы, мне будет отпущена человеческая бесконечность, ежедневная мука единообразием и воспоминаниями.

Может быть, я была влюблена в него, трудно сказать определенно. Он останется в моей памяти, окруженный особым ореолом.

Я наблюдала ее призрачный танец и его полный печали и обожания взгляд, следивший за духом девичьего обитания в доме. Он, как и я, научился ценить своеобразие ее выбора – ступить так, а не иначе, произнести то, а не другое. Но это нисколько не противоречило моей ярости, даже наоборот – придавало ей абсолютную, безразмерную величину.

Через него, через родителей, учителей, одноклассников, через бабушку, случайных прохожих, пассажиров автобусов и всегда недовольных продавщиц я любила и ненавидела, и не было желанней человека, чем она.

Все было верно, от начала и до конца, я осознавала предопределенность природы, которая создала нас, чтобы одна смотрела на другую. Смотрела, как человек, совокупный и имеющий дар лицезрения, глядит на природу, удивляясь, задумываясь и пытаясь сломать. А я так хотела, чтобы ты хоть раз взглянула на меня по-настоящему! Хоть раз!

Его расположение ко мне довольно быстро сменилось усталостью-пренебрежением-подозрением и, наконец, неприятием. Я, которая была ближе, чем мать, отличалась, причем коренным образом.

Он начал тяготиться моим присутствием. Я сказала:

– Когда она была в последний раз?

– Не помню, – ответил машинально. Но я точно знала, что он отметил этот день, возвел в степень.

– Я могу, как только... – начала я, и тут в нем – молния, быстрая, мятежная – а вдруг? Он кое-что понимал про меня, но все-таки уверенным быть не мог, не хватало информации, опыта, он был чутким, но туповатым, стоит признать. Оттого он мне казался лишь совершеннее. Слепота любовная, как много в тебе правильного! Как много проблесков правды, прозрений, открытий, которых не замечаем!.. Если бы его спасти, если бы направить, он мог бы сделать счастье любой женщины, мое счастье, если бы оно было возможно...

С опаской отвернулся. Не поверил, но надеялся, надеялся!..

– Да, я могу сообщить.

Он встал как-то нервно-стремительно.

– Я сообщу, – твердо пообещала я, не собираясь выполнять обещание. Он проводил меня до двери, щелкнул замком.

Но по воле судьбы именно я известила: сестричка сдана в психбольницу. Напала на мать в подъезде. Со слов матери, конечно, и некоего «доброжелателя». Я пыталась выяснить, кто он, но от меня отмахнулись.

Шизофрения – разве это диагноз? Что это, если не насмешка? Разве каждый из нас не живет внутри себя еще с кем-то? Не разговаривает с собой, не мучается на развилке, когда один тащит влево, а другой – вправо? Это иное – можно заявить, но меня убедить невозможно.

Так началась новая эпопея в нашей жизни – от звонка до звонка, от сдачи до возвращения и новых попыток сдать.

Несмотря на угрозы, ушла не мать – ушел отец. Он прежде несколько раз избил сестру, дико и неестественно, убивая в себе мужчину, хозяина дома, расставаясь с сокровенными узами. Я понимала, что он на меня никогда не поднимет руку, но мне в те моменты было страшно. Что-то разрушалось безвозвратно.

Мать начала выпивать. Сестре надо было принимать таблетки, а она теперь не заставляла – прятала. Смеялась беззвучно звуку оплеух, тихим заученным вскрикам. Я с этими переменами сначала потерялась совсем, куда мне было деть себя, когда физическое насилие соседствовало с моей постелью? Но вскоре привыкла, как привыкают ко всему...

Милый дом, как много ты пережил, сколько ты видел... Отсюда мне до тебя добраться – полчаса на транспорте. Я уже прочертила путь. Сначала на остановку около зеленого дома

с завитушками под крышей. Сесть на семерку и спуститься по многоколенным улицам к вокзалу. Там, свернув часы, – минутная стрелка прибавит 19, – пересесть на троллейбус. Он не резвый, но ходит часто. Красный, оранжевый, сиреневый. С пестрыми картинками. Держаться за поручень, уступая место и избегая близости. Разглядывать людей, как рыбок в аквариуме. А я в акваланге. И в клетке, чтобы не сожрала акула. Но она подплывает тихонько, только не здесь, а внутри меня, за прутьями. Голубая грудка мышц, зубы в несколько рядов, черный провал пасти. И, конечно, страшные холодные глаза, и рядом шрамы прежних сражений.

Милый дом, родные стены. Неправильно, когда кто-то имеет право отнять у человека его дом. Лишить убежища, разрезать душевное спокойствие на две части: до и после.

Хотя забирали меня из другой квартиры. Не помню как, пока не помню... Но было душно. Я ее снимаю, эту квартиру. Снимала. Однокомнатная, вполне уютная, без изысков, но удобная, с высокими потолками. И главное – всё другое, всё новое, никаких намеков. Однако вспоминается сейчас лишь тот, первый, дом – три хороших комнаты, которые мать-пьяница превратила потом в постапокалиптический пейзаж.

В новой квартире мне было приятно находиться, она перенимала от меня человеческие черты. Я закончила университет вместе с ней, отпраздновала диплом, пригласила мужчину... Он стал помогать, но за аренду я всегда платила сама.

Теперь ее, наверно, займет кто-то другой... И пусть, я уже стала замечать там какую-то скованность. И духота невыносимая, утром и вечером, в любое время года. Я иногда оставляла окна открытыми на целый день, а она всё равно сохранялась. На первых порах я принимала ее за тепло, радовалась, что спокойно будем зимовать, но потом оказалось, что квартира холодная, пришлось заклеивать щели, покупать обогреватель, и дышать стало еще труднее. А ему всё равно было – вот загадка!..

А здесь даже лучше: много рядом шума, агрессия, задавленная бетонной плитой, но густо улыбающаяся, зато живешь, будто в иной системе координат, в ином обществе, и оттого не замечаешь, как дышится, как теряется время.

Я матери сказала:

– Еще раз девочку сдашь, я тебя не прощу, я тебя за мать больше не посчитаю.

Не знаю, как там теперь всё, боюсь, что мамочка переступит через мою угрозу, а потом лебезить будет. Но я слово сдержу, клянусь, сдержу.

Ей ведь пытались помочь, сестре моей. Папка пытался. Он нашел себе новую семью, родил ребенка и как-то успокоился сразу, будто вступил на нужную дорогу, будто безнадежность отпустила его сердце.

Он возил сестру в Москву, показывал специалистам. Возвращалась она оттуда намного лучше, но как собака, сжавшись, предчувствуя удары. Папа ее к себе брать не был готов и не хотел.

Сестричка с горем пополам отучилась в колледже, но работы не было. Мать тянула из нее маленькую пенсию за инвалидность, ставила бутылку своему новому «мужу», лекарства не пились, побои продолжались.

Всё опустело вокруг. Однажды, правда, приехала из Москвы женщина, папина знакомая, кажется, врач как раз тот, что нужен был. Пыталась с матерью разговаривать – среда важна для девочки, возьмите себя в руки, где ваша совесть, – но мамы уже не было, она в себе ловко инстинкты задавила, а привязанность, наверно, и зародиться не успела. Конечно, для нее ситуация была огромным горем, но горем относительно нее самой и ее личной «несостоявшейся» судьбы. Это давало ей «полное право», по ее словам, на «полное самоуправство». Мать вопила – пусть убирается, но сестра никому не была нужна, никому.

Когда я еще жила вместе с ними, какое-то время развлекалась тем, что по мелочам сестру подставляла. Проливали суп на пол, пачкала полотенца зубной пастой, заляпывала зеркала.

Мать заводилась жутко, вскоре уже без моих намеков считая виновницей свою «идiotку-старшенькую».

Сестра почему-то перестала убегать, сидела целыми днями в нашей комнате или на кровати лежала пластом, без движения. Иногда мне казалось, что она не дышит...

Тогда мать стала выгонять ее в подъезд на ночь. Ее теперь стало раздражать, что сестра всё время за стеной, рядом. Она чувствовала в ее изменившемся поведении немой укор, осуждение себе.

Сестру насиловали там в течение этих ночей и не раз. Не знаю, может она и не кричала, но никто не помогал. Никто ее не приводил, никто на нашу слепоту не жаловался. Она сама возвращалась; аккуратно, под немыслимым углом шла к себе. В первые часы после ее прихода я тряслась от страха. За ней, как за какой-нибудь несчастной вдовой или жертвой бомбардировок, тащился тяжелый шлейф чувств, неразделимой скорби. И этот запах! Он меня с ума сводил. Мать, кстати, тоже утихала на это время, запиралась на кухне или бездумно переключала каналы на телевизоре.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.